



Художник О. КИПРЕНСКИЙ. 1827 г.

Нет, весь я не умру —
душа в заветной лире
Мой прах переживет
и тленья убежит...

Анкета ЛГ

Арсений ТАРКОВСКИЙ

ВЫСОТА ДУХА

ПУШКИН — это то, что помогает мне жить, держит меня на земле в мои преклонные лета. Это самая глубокая, самая сокровенная и драгоценная частица моей души. Его стихи, строфы, строки неумолчно звучат в памяти моей, в моем сердце. И никакие жизненные невзгоды, бури, потрясения не в силах меня этого лишиться, а если бы такое как-то вдруг случилось, мне кажется, я уже не смог бы ступить по земле, дышать... Ведь Пушкин для меня жив, он рядом. В трудную минуту жизни я всегда чувствую его локоть, локоть друга, брата, наставника, мудреца... В его творениях, в высоте его духа я ищу и нахожу для себя ответы на трудные вопросы бытия. Он ведь постигал и провидел все — от повседневного до вселенского, от глубинных изгибов души человеческой до судеб народов. И я всегда учился и учусь у него, это он потребовал от меня строгости к себе — лучше мало, да лучше, потребовал строгой строгости, строгой ритмики... И мне уже иначе нельзя — я боюсь его опуститься и прогнеть.

Порой я перечитываю его лирику, иду то, что не совсем прочно закрепилось в памяти, какие-то ускользнувшие строки... Порой перечитываю «Медного всадника» — поэма не запомнилась мне наизусть, быть может, потому, что полюбилась лишь в юности, когда память уже начинала терять ту свою чепкость, которой обладает в детстве, хотя

Тихло-звонкое сканание
По потрясенной мостовой

и поразило меня сразу, как удар грома, не только своей звукописью, но и тем, когда это было написано.

А вот полюбившиеся с детства «Полтава» и «Евгений Онегин» почти полностью живы в моей памяти. И все же как прозвучит вдруг в душе:

Он дал бы грады родовые
И жизни лучшие часы,
Чтоб снова, как во дни былые,
Держать Мазепу за усы

— так опять (в какой уж раз!) прихлунут слезы восторга... Ведь так сжато и вместе с тем всеобъемлюще, так ошеломляюще убедительно выразить чувство мог только он, Пушкин, и ни один другой поэт на свете!

Еще, бываю, перечитываю «Моцарта и Сальери», «Пир во время чумы» и часто, очень часто «Капитанскую дочку» — эту поэму в прозе, одно из удивительнейших по своей гармоничности, жизненности и народности творений гения. А сейчас у меня на столе два тома переписки Пушкина.

Недавно прочел книгу С. Абрамовича, где день за днем прослеживаются последние месяцы жизни великого поэта. Перебрал то, что написала о Пушкине А. Ахматова — один из лучших поэтов нашего времени.

И раз уж речь о Пушкине, уместно вспомнить Федора Михайловича Достоевского, провозгласившего Пушкина знаменем, под которым должна развиваться не только русская литература, но и русское общественное самосознание.

Вспомнил лишь (и то понимая слишком буквально) сказанные Пушкиным в шуточку слова о том, что «поэзия, прости господи, должна быть глуповата».

Пушкин был чудом «поэтических» изливов и красот. В его стихах — ни одной лишней строки в отличие от тех «поэтических» поэтов, которые грамм своей мысли растворяют в потоках водно-стихотворных. Недаром Анна Ахматова говорила о «головолучительном лабиринте» пушкинских творений. Потрясающий пример этого лабиринта — «Моцарт и Сальери», действительно «маленькая» трагедия, которая не в пример многим обывающим сочинениям на десяти страницах выявляет суть конфликта, избегая хотя бы и талантливой, но загроможденной эту суть подробности и боковых линий.

Наконец, Пушкин — яркий пример настоящего поэта-гражданина, поэта совести, который высшим смыслом своей жизни считал не ту или иную поэтическую находку, а нечто более безусловное и общезначимое:

И долго буду тем любезен я народу,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,
Что в мой жестокий век восславил
И свободу и милость к падшим призывал.

Кстати, о жестоком веке — в нем с ног на голову были поставлены не только кардинальные общественно-политические понятия, такие, например, как патристизм, но и обыкновенные человеческие представления о скромности и высокомерии, ловкости и простодушии, стало казаться, что человек хорош, если подержит изыскан, и только, и нехорош, если встревожен или чем-то серьезно задет... Когда мы произносим «Пушкин», то сразу попадаем в гармоничный, ясный, легкий мир, где светла даже печаль. Но не будем забывать, что все это относится к творчеству Пушкина, к Пушкину-поэту. Ведь насколько светлой и ясной была поэзия Пушкина, настолько же была тяжелой и горькой (не случайно он говорил, что в его жилах, кажется, вместо крови течет желчь)...

Пушкин был поэтом больших мыслей и в этом качестве поднимался все выше и выше, что некоторые из близких ему людей казались, что «талант Пушкина иссякает». Забывая, что для Пушкина литература — это «мысли и мысли», они

Сергей ЗАЛЫГИН

НА ПОРОГЕ
БУДУЩЕГО

НЕ ЗНАЮ, стал ли я с годами лучше понимать Пушкина. Но знаю, что я все больше и больше стал ему удивляться, удивляться этому чуду бесконечно и умом, и чувством, и всем опытом своей жизни. Не устаю преклоняться перед ним.

И вот уже я не могу снять с полки томик Пушкина просто так, между прочим, а должен сначала к этому подготовиться, перевести дыхание, отдать себе отчет в том, что я делаю: протягиваю руку к Пушкину.

Он — это самое светлое и разумное среди всего того, что обещало людям бессмертия, и не он, а мы виноваты в том,

«Никто не заменит Пушкина. Только однажды дается стране воспроизвести человека, который в такой высокой степени соединяет в себе столь различные и, по-видимому, друг друга исключают качества».

Адам МИЦЕВИЧ
«Пушкин — наше все...»
Аполлон ГРИГОРЬЕВ

КОГДА-ТО Иван Бунин, подивившись вопросу очередной анкеты «Каково ваше отношение к Пушкину?», робко ответил: «Никак я не смею относиться к нему...».

И сейчас сохраняют, а может быть, и приобретают особое значение слова, сказанные Николаем Страховым более ста лет назад: «До сих пор всякий, желающий говорить о Пушкине, должен, нам кажется, начать с извинения перед читателями, что он берется в том или другом отношении измерять эту неисчерпаемую глубину».

Ибо Пушкин — слово, которое давно уже перестало быть для нас только фамилией писателя, пусть великого, а стало обозначением чего-то такого, без чего самую жизнь нашу помыслить нельзя. «Когда он вошел в меня, — спросит тот же Бунин, — когда я узнал и полюбил его? Но когда вошла в меня Россия? Когда я узнал и полюбил ее небо, воздух, солнце, родных, близких?»

Пушкин, казалось бы, воплощенный только в своих произведениях, перерос и их и ведет уже чуть ли не безотнотель

«Здесь собирались декабристы в 20-х годах XIX века», на другой: «Здесь бывал Пушкин в 1821 году». Пребывание на Украине молодого ссыльного поэта, стремительно выходящего на орбиту гения, было связано с самой революционной силой России того времени — с декабризмом. Пушкин слушал напевы наших кобзарей — в них дышала могучая гневная история целого народа. Все это уже давно канонизировано в украинских легендах и стихах, в современном пушкиноведении.

И я вспомнил об этом на грандиозном Пушкинском празднике, когда на священном месте, где похоронен прах гения, звучал голос знаменитого нашего земляка Ивана Семеновича Козловского: рекем под сводами Святогорского монастыря стал символом бессмертия...

Максим Рыльский, выросший под творческой звездой русского гения, писал: «Пушкин, автор поэмы «Полтава», знал и любил Украину. В Каменке и ее окрестностях поэт внимательно прислушивался к разговорам крестьян, жадно внимал песням и думам слепого кобзаря. Когда

ему хотелось сказать о красоте девушки, он говорил, что она стройна, «как тополь киевских высот»... Тарас Шевченко вырос на благодатной почве народной песни, но его «Мария», его «Неофиты», такие стихотворения, как «Муза», свидетельствуют о том, что мы знаем и из его биографии: Кобзарь безгранично любил Пушкина и учился у него. Учился так, как учится гений у гения. Драматические поэмы Леси Украинки — об этом уже не раз говорилось — восходят к «Маленьким трагедиям» Пушкина, причем их объединяет не только сходство в жанре, но и необыкновенная сконденсированность мысли...»

Необыкновенная сконденсированность мысли — вот пушкинский завет грядущим поэтическим поколениям! Вот почему, как к живому, стоя на берегу моря в Одессе, молодой Павло Тычина обращался к памятнику:

Здоров будь, Пушкин мій, землі орган
могутній!
Каждому дано читать поэта в уединении. Но какая-то необоримая сила собирает в Михайловское наших вечно заня-

тых современников. С июньского неба и там, на севере, порой дышит Африка — я запомнил однажды тридцатипятиградусную жару. Тысячи и тысячи паломников сидели, стояли, лежали на молодой траве — из репродукторов обращался к ним мощный голос Славы.

Со всех концов мира поэты приносят в Михайловское благоговейную любовь к Пушкину — он собирает певцов разных токов земли, он объединяет нас под своим парящим крылом. И я подумал: затем и пришли сюда люди, чтобы чувство общения с Пушкиным, которое происходит в уединенной тишине кабинета, с глазу на глаз с поэтом, превратиться в огромное чувство всечеловеческой солидарности.

В Пушкине любил все — и канонически четкие, будто не одним человеком, а временем и людьми, множеством дыханий отточенные строки, любил вечного современника человечества и своего ровесника, поражающего его феноменальному поэтическому дару и всей душой рвущегося туда, на место дуэли, пытающегося уже в миллионный раз отатарить неотвратимое... КНЕВ

значит, на основе самоуглубления, личность — характер вообще... — вот что прежде всего принесла Пушкину молодость. В пору становления и самопознания личности во всей ее глубине и трагизме нужен был уже иной, чем, скажем, Жуковский, более могучий помощник и учитель. Таким «властитель дум» и стал тогда Байрон. Впервые личность как характер, как герой появилась у Пушкина на юге и в поэмах, и в его «молодой» лирике. Тогда же появилась и героиня, она. Только с молодостью рождается у Пушкина подлинная лирика любви. Так в молодости Пушкин стал, в сущности, первым у нас поэтом любви. Конечно, о любви писали и до, и потом. Но никто ни до, ни после Пушкина не создал в русской поэзии ничего подобного пушкинскому образу любви. Если можно так выразиться, полному ее образу... Любили — в зародыше, в развитии, в становлении, в изжитости, любви в разнообраз-

другим и более обширным взглядом на мир — процесс, беспрестанно повторяющийся и оправдывающий мнение тех людей, которые поэзию Пушкина считают, по преимуществу, существованием, реальностью, приносящую с собою бодрость для духа и свежесть для мысли».

ЛУБОКОЙ осенью 1824 года, отправленный с юга на север — из ссылки в ссылку, Пушкин остался один в глухой псковской деревне. «Кто творец этого бесчеловечного убийства?.. — в ужасе писал А. И. Тургеневу П. А. Вяземский. — Да и постигаю ли те, которые вовлекли в это в эту меру, что есть ссылка в деревню на Руси? Должно точно быть богатым духовным, чтобы устоять против этой пытки. Страхуешь за Пушкина!»

Многое, однако, в этом положении выглядило иначе, если посмотреть на дело с точки зрения внутреннего становления национального гения, вступающего в пору

на деле существовавшее родство России с этим краем... В «Памятнике» поэт назвал наряду с «гордым внуком славян», все углубляясь, до крайних точек отсчета самых тогда малых и забытых: «и ныне дикой тунгус, и друг степей калмык».

Но для того, чтобы в полной мере выжить к высотам общего всемирного сознания, Пушкину нужно было оказаться в глубине русской деревенской жизни. Правда, не слишком в ней задерживаясь, не пересидев в ней.

Внутреннее развитие и становление пушкинского гения и здесь проявляет себя с почти математической размерностью и точностью. «Как только прикоснулся к силе народной», как только, становясь вполне народным поэтом, приступил к труду над «Борисом Годуновым», осенью 1824 года, так и оборотился вдруг и вроде не ожидая к одной из величайших человеческих книг, к Корану, к пророчествам особого мира, казалось бы, прямо противоположного всему, чем он в это время жил, — средневековому, русскому, деревенскому, православному.

Всемирная отзывчивость Пушкина давала ему возможность вполне ощущать и передавать поэзию чужого мира и чужого языка. Так было с Шекспиром, когда он проходил к нему, как сказка, сквозь французские переводы, и тогда, когда он сам переводил Шекспира. Педантичный и типичный образованный немец барон Е. Розен засвидетельствовал: «Удивительно, как Пушкин, при слабом знании немецкого языка, хорошо выразил дух немецкого языка, как Пушкин, при слабом знании немецкого языка, хорошо выразил дух немецкого языка, как Пушкин, при слабом знании немецкого языка, хорошо выразил дух немецкого языка».

Так было и с Кораном, в который он входил с переводом М. Верекина и из которого выходил с «Подражаниями». Корану так, что Достоевский воскликнул: «Разве тут не мусульманам, разве это не самый дух Корана и меч его, простодушная величавость веры и грозная кровавая сила ее?»

И КОГДА Пушкин обращался к Библии и к Корану, то дело не ввольном излиянии религиозных чувств и настроений. Но и не просто в красотах стиля «вечных» книг человечества. Библия и Коран дали в эту пору зрелого становления возможность Пушкину утвердиться в его новом самоощущении художника небывалой до того степени ответственности и высокого миссионерства. И — соответственно — свободой, и независимостью от чего бы то ни было, кроме своего призвания. То есть в самоощущении большем, чем самоощущение только художника. Так создается самый колоссальный образ пушкинский, а значит, и всей русской поэзии — образ пророка. Тем более что образ пророка уже уже вынашивался: например, в стихах Ф. Глинки 1822 года «Призвание Исайи». Но у того же Глинки есть не столько общий образ пророка, сколько набор конкретных пророчеств. Иначе говоря, пророк сужен до определенного пророчества, в данном случае — то же в «Пророчестве» В. Кюхельбекера. Все эти поэты опускают пророка до себя, Пушкин поднимает себя до пророка.